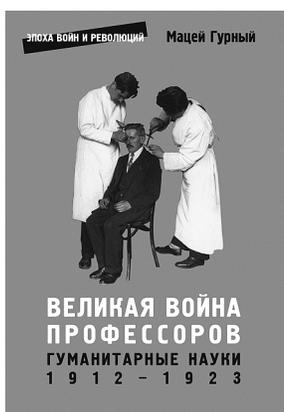


НОВЫЕ КНИГИ

Гурный М.
Великая война профессоров. Гуманитарные науки. 1912—1923 /
Пер. Н.С. Поляковой; науч. ред.
Б.И. Колоницкий; предисл.
М.Б. Могильнер.



СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2021. — 414 с. — 700 экз. — (Эпоха войн и революций. Вып. 15).

Книга сотрудника Института истории Польской академии наук Мацея Гурного, вышедшая на польском языке в год столетия начала Первой мировой войны, посвящена участию интеллектуалов того времени, особенно центрально- и восточноевропейских, в идеологических шовинистских дискуссиях. Автор выбирает для исследования более широкие, чем принято, хронологические рамки, полагая, что в Восточной Европе война фактически началась уже в 1912 г., с нападения Болгарии, Греции, Сербии и Черногории на Турцию, а события 1914 г. были лишь продолжением Первой и Второй Балканских войн; также и 1918 г. не был в Восточной и Центральной Европе рубежом, поскольку за прекраще-

нием военных действий на Западе последовали гражданские войны и войны между новыми государствами на Востоке, последняя из которых закончилась в 1923 г. с подписанием Лозаннского договора между Турцией, Грецией и странами Антанты.

Основное внимание в книге уделяется влиянию на дискуссии интеллектуалов характерологии и расовой теории. Еще до начала войны разные народы характеризовались как более смелые или трусливые, честные или лживые, мужественные или женственные и т.п., причем особую убедительность таким описаниям придала мода на экспериментальную психологию, представленную работами В. Вундта и его последователей. Особенно влиятельными были труды по психологии народов Х. Штейнталья и М. Лацаруса. Одновременно в расовой теории предпринимались попытки установить соответствия между физическим строением людей и их культурными особенностями. Как отмечает Гурный, более эмпирически ориентированные исследователи расовых различий с недоверием относились к весьма широким обобщениям относительно психологии народов, однако это не мешало последующему использованию аргументов из обеих областей для создания национальных стереотипов, как негативных, так и позитивных. Вслед за Э. Саидом автор отмечает также влияние складывающегося в XVIII—XIX вв. ориенталистского дискурса, оценочных противопоставлений западного и восточного. Наряду с ориентализмом, по мнению автора, для дискуссий периода войны будет важен и гендерный дискурс, также основанный на дуальных противопоставлениях.

Переходя собственно ко времени Первой мировой войны, Гурный делает сначала пространный обзор западной «войны духа» — коллективных писем, подписывавшихся европейскими учеными, взаимных обвинений в варварстве и т.п. Дискуссии интеллектуалов в Центральной и Восточной Европе во многом были схожи, но имели, как отмечает Гурный, свою специфику. Так, более низкий уровень грамотности населения существенно сужал их аудиторию. Они в значительной мере оказывались ориентированы не на внутреннего, а на внешнего потребителя, перед лицом которого представители разных народов стремились что-то доказать. Споры велись не только между враждебными лагерями, но и между «своими». Например, польские и украинские авторы опровергали друг друга в стремлении доказать, что именно их народы наиболее лояльны Габсбургам и заслуживают их поддержки. К особенностям «войны духа» на Востоке Гурный относит и то, что она была довольно независима от государственной пропаганды; инициатива по большей части исходила от самих интеллектуалов, которые к тому же часто отстаивали интересы народов, у которых еще не было своих государств. Важно было не только опорочить врага, но и создать собственный благоприятный образ, тем более что о многих восточноевропейских народах на Западе представления были весьма приблизительные. Вот почему в восточноевропейских текстах было больше наполненных конкретикой историко-культурных экскурсов, чем в западных. При этом, отмечает Гурный, характерология поставляла аргументы для обоснования будущих аннексий. Так, если какой-то народ определялся как более женственный по сравнению с другим (более мужественным), из этого следовало, что он должен подчиняться — так же, как женщина подчиняется мужчине. С этим было связано не только стремление исследователей

доказать мужественность своих народов, но и переосмысление женственности; например, в польских текстах исторические личности вроде королевы Ядвиги оказывались способны жертвовать своими чувствами ради государства, присоединять обширные территории и т.д.

Еще одна важная особенность дискуссий в Восточной Европе состоит в том, что в них трудно отделить военный шовинизм от благородного патриотизма, в частности потому, что многие из тех текстов впоследствии стали основополагающими для национальной идентичности новых государств. В результате если применительно к Западной Европе тексты, возникшие в рамках «войны духа», рассматриваются в начале XXI в. по большей части как одиозные, как досадный краткий эпизод в прошлом, то в Восточной Европе это не так. Сам Гурный считает, что «нельзя осудить этих авторов за их патристические убеждения» (с. 147). Он не соглашается с И. Бодуэном де Куртенэ, довольно резко писавшим еще в 1915 г., что участники «войны духа» занимают просто интеллектуальной проституцией. На самом деле, пишет Гурный, в создававшихся тогда текстах сплетаются разные мотивы, а потому, пусть многие высказывания той поры и выглядят научно и морально сомнительными, о них не стоит судить однозначно.

Отдельные главы книги посвящены инструментализации для нужд войны географии, антропологии и психологии с психиатрией. Географы помимо выполнения прикладных исследований для целей армии спорили и о теоретических вопросах, таких как понятие естественных границ. Если раньше в качестве последних понимались реки или горные хребты, что делало естественной границу Франции и Германии по Рейну или Австрии и Италии по Альпам, то теперь указывалось, что именно берега рек образуют целостные районы или что горные регионы вроде Тироля

являются не столько пределами, сколько местами активных взаимодействий. Особое внимание Гурный уделяет концепциям Ф. Ратцеля и Ф. Наумана и связанным с ними различным трактовкам экспансии — как занятия и заселения более развитыми людьми освобожденных от местного населения территорий или же как построения мультиэтничной Центрально-Восточной Европы как целостного экономического региона при немецком доминировании. Как отмечает автор, успехи на восточном фронте делали для немецких авторов все более предпочтительной землю без людей. Впоследствии концепция физического детерминизма Ратцеля или человеческой географии П. Видаля де ла Блаша активно переосмыслились восточноевропейскими географами, стремившимися обосновать границы новых государств. В главе об антропологии основное внимание уделяется исследованиям, проводившимся в лагерях для военнопленных, где антропологи получали возможность проводить большое количество измерений, делать гипсовые отливки и серии фотографий. Основанные на этих измерениях выводы позволяли судить о степени расовой близости народов и их способности в будущем жить в рамках одного государства. Наконец, психология и психиатрия занимались не только обсуждением прикладных вопросов, таких как истерия и нервное истощение у солдат или влияние на них проституции, — наряду с этим ставились и вопросы о том, какие народы более предрасположены к отклонениям от психической нормы. Например, утверждалось, что немцы достигли успехов благодаря большей дисциплине, самостоятельности, свободной воле, из чего делался вывод, что их претензии на доминирующее положение заслуженны. Подобная аргументация позднее также использовалась восточноевропейскими интеллектуалами в отстаивании своих «национальных интересов».

Выводы же самого Гурного отчасти схожи с тем, что писал Саид: национальные стереотипы вовсе не являются чем-то противоположным научной рациональности, чем-то, что можно с ее помощью преодолевать. Зачастую они вполне легитимные следствия нормального академического знания, а не сознательные манипуляции. При этом сама наука неизбежно содержит в себе элементы художественного воображения. Однако именно по этой причине Гурный, в отличие от Саида или З. Баумана, предлагает «дистанцироваться от обвинений в безнравственности» (с. 342) восточноевропейских интеллектуалов. Он полагает также, что не следует выстраивать однозначную связь между теориями времен Первой мировой войны и холокостом. Эти вопросы, конечно, заслуживают дальнейшего обсуждения.

Хотелось бы отметить хорошее качество перевода книги, в котором, однако, изредка встречаются неточности, полонизмы и англицизмы в передаче немецких личных имен. Так, специалист по английской литературе Левин Людвиг Шюкинг назван Шилькингом, математик и географ Зигмунд Гюнтер — Зигмунтом, лингвист и путешественник Карл Заппер — Саппером, генерал Рюдигер фон дер Гольц — Рюдингером, историк литературы Пауль Вислиценус — Полом. Есть в книге и путаница с исторической географией. Так, в 1915 г. русские войска отступают из Королевства Польского (с. 95), однако марионеточное королевство было создано немцами лишь в конце 1916 г. При этом ниже (на с. 103) говорится, что немецкая оккупация привела к сокращению количества периодических изданий на территории Царства Польского. И даже весной 1917 г. Фридрих Науман посещает Царство Польское, а не Королевство (с. 155). Модернизируются названия городов: немецкие до 1945 г. Бреслау и Штеттин уже во время Первой мировой именуются Вроцлавом и Щецином, а австрий-

ский Лемберг — Львовом (что, впрочем, понятнее для русского читателя). С другой стороны, «мазепинцы» (антирусски настроенные украинские националисты и, как считалось, идейные последователи гетмана И.С. Мазепы) именуются «мазепинцами» (с. 95), что воспринимается труднее. Название книги австрийского публициста К. Крауса «Последние дни человечества» (1918—1919) почему-то дается по-английски с русским переводом в скобках. Возможно, речь идет об английском переводе 1922 г., но тогда его нельзя называть «первым изданием» (с. 104). Наконец, не вполне точен перевод подзаголовка книги: в ней идет речь не столько о гуманитарных науках, сколько о «науках о человеке» — так и указано в польском оригинале. Если психологию еще можно отнести к гуманитарным наукам в русском понимании, то психиатрию или физическую антропологию — едва ли.

Весьма полезным является написанное М.Б. Могильнер предисловие к книге, которое позволяет поместить ее в контекст других актуальных исследований, в том числе опубликованных после 2014 г. Можно согласиться с автором предисловия в том, что книга Гурного, в которой наряду с текстами на польском, словацком, болгарском, сербском и других языках активно используются и тексты на русском (редкая в гуманитарных науках попытка показать вместе и сопоставить столь многочисленные национальные дискуссии), компенсирует недостаточную исследованность этой темы в российской историографии. Вместе с тем к упоминаемым Могильнер важным исследованиям хотелось бы добавить коллективный труд Э.И. Колчинского, С.И. Зенкевича, А.И. Ермолаева и др. «Мобилизация и реорганизация российской науки и образования в годы Первой мировой войны» (СПб., 2018).

Евгений Савицкий

Меймре А.

**Лики периодики. Кн. 1.
Десятилетие «междоусобных войн»: к истории русской периодической печати Эстонии 1917—1927 годов.**



Таллин: Авенариус, 2022. — 247 с.

Новая книга известной исследовательницы русского зарубежья Аурики Меймре посвящена первому десятилетию развития русской журналистики в Эстонской Республике. Русская периодическая печать в Эстонии 1920—1930-х гг. изучена сравнительно хорошо, во многом благодаря работам А. Меймре, которая ввела в научный оборот широкий круг архивных материалов из фондов Национального архива Эстонии о регистрации и закрытии русских повременных изданий. Начало этой работе положила ее докторская диссертация «Русские литераторы-эмигранты в Эстонии 1918—1940. На материале периодической печати» (Таллин, 2001), где в главе «Система русской периодики в Эстонии в 1918—1940 гг.» давался обзор развития русской журналистики довоенного периода. Ей же принадлежит ряд статей и книг, посвященных истории русской журналистики в Балтии с начала XX в. по 1940 г. (см. список на с. 235—237 рецензируемой книги).

В первое десятилетие существования Эстонской Республики выходило около сотни русских газет, бюллетеней, журналов и других периодических изданий. Чтобы ориентироваться в них, А. Меймре при выборе объекта описания руководствовалась «стратегиями и судьбами людей, стоявших за этими изданиями» (с. 6). Этим отчасти объясняются как названия глав, так и структура монографии: биографии участников процесса (лица) и «биографии» отдельных изданий, с привлечением богатого иллюстративного и архивного материала. Первая глава («Журналистика в лицах») предлагает знакомство с теми, кто стоял у истоков и задавал тон в местной русской прессе, «организаторов русской печати в Эстонии» (с. 8). К ним А. Меймре отнесла таких журналистов, как А.В. Чернявский (1882—?), Н.Н. Иванов (1886—1960), В.М. Белов (1890—?), П.М. Пильский (1875—1941), Л.Ф. Лучинин-Недосекин (1876 — после 1935). При этом исследовательница оставляет «за кадром» основателя самой влиятельной эстонской русскоязычной газеты того периода «Последние известия» Р.С. Ляхницкого (1885—1937; см.: Шор Т. Начало журналистской деятельности Р.С. Ляхницкого в Эстонии // *Stanford Slavic Studies*. 2012. Vol. 42), а также других активных участников столичных изданий, имена которых мы узнаем в следующей главе, таких как приват-доцент Тартуского университета и популяризатор творчества Анны Ахматовой в Эстонии С.В. Штейн (1882—1955; см. о нем: Пономарева Г.М., Шор Т.К. Сергей Штейн — миф и реальность // *Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение*. Тарту, 1999. Вып. 3), корреспонденты, авторы обзоров местной русской печати Г.И. Тарасов (1888—1938), П.А. Богданов (1888—1941; см.: Исаков С.Г. П.А. Богданов и дело эстонской группы Русской трудовой крестьянской партии // *Балтийский архив*. Таллин. 1997. Т. 3.), А.Г. Бакструб (Долль) (1898—?) и др. Логично было

бы включить биографии хотя бы тех девяти журналистов, фото которых воспроизведены на шмуцтитуле главы «Журналистика в лицах». Понятно, почему она начинается именно с биографии А.В. Чернявского (Черниговского), который был не только журналистом и политиком, но и автором авантюрно-политического романа из жизни русской эмиграции начала 1920-х гг. «Семь лун блаженной Бригитты», переизданного одновременно с интересным целым том исследованием (Меймре А.А. Чернявский и его роман «Семь лун блаженной Бригитты»: комментарий. Кн. 1. М., 2016; Чернявский-Черниговский А. Семь лун блаженной Бригитты: роман / Подгот. текста, коммент. А. Меймре, Н. Чуйкина. Кн. 2. М., 2016). Портрет П.М. Пильского, несколько позже вступившего в литературный круг русских авторов Эстонии, составлен из многочисленных публикаций автора монографии, а вот главки о Н.Н. Иванове, В.М. Белове и Л.Ф. Лучинине-Недосекине представляют собой, хотя и с неизбежными биографическими лакунами, интересные мини-исследования с обращением к неизвестным ранее архивным материалам не только Национального архива Эстонии, но и российских и американских архивохранилищ.

Глава «Лики периодики» представляет собой попытку описать разновекторный процесс становления русской прессы в Эстонии в первые десять лет ее самостоятельного существования. В фокусе исследования только столичная журналистика, что, несомненно, обедняет общий контекст русской прессы Эстонии этого периода. Краткие исторические справки о ее начале в прибалтийских губерниях и о переходном периоде к самостоятельной Эстонии предваряют анализ расцвета и упадка русской журналистики в эмиграции в этой стране. Два отдела посвящены ежедневной демократической газете «Новая Россия» (1919; редакторы Н.Н. Иванов, И.М. Горшков,

С.П. Мансырев) и последующими изданиями этой редакционной группы, которая ставила задачу борьбы с большевиками и «устроения новой России» на Северо-Западе России и широко освещала жизнь русских беженцев в Эстонии. После ликвидации Северо-Западной армии на сцену выдвигается газета, речь о которой идет в части под названием «Эпоха “Последних известий”» (1920—1927; редакторы Р.С. Ляхницкий, М.Г. Ратке, С.В. Штейн, О.А. Гюдженева). Ее деятельность освещается с точки зрения меняющихся политических ориентиров, вклада в литературную жизнь русской эмиграции, выявляются также причины финансового краха, приведшего к закрытию этого неординарного издания зарубежной России. В разделах о газетах «Свободное слово» В.М. Белова (1921) и монархистских изданиях середины 1920-х гг. А.В. Чернявского («Ревельское время», «Час», «Наш час», «Русский голос», журнал «Эмигрант») Меймре рассказывает о накале политической борьбы внутри эмигрантской среды и о вступлении на журналистское поприще местного русского меньшинства (лиц, имеющих гражданство Эстонии).

Во введении автор справедливо предупреждает читателя: «Книгу никак нельзя назвать завершением исследований по этой теме — она всего лишь промежуточный этап, фиксация обнаруженного» (с. 5). И это надо иметь в виду, обращаясь к тексту, потому что у тех, кого интересуют газеты и журналы этого периода (теперь все желающие могут обратиться к ним на эстонском сайте DIGAR: <https://dea.digar.ee/>), могут возникнуть дополнительные вопросы, касающиеся как биографических очерков об участниках и создателях русской периодики, так и очерков о ревельских газетах «Новая Россия», «Последние известия», «Свободное слово», «Ревельское время» и др.

Татьяна Шор

Schöpf S.

**„Schrift [...] fällt beim Lesen nicht ab wie Schlacke“:
Die buchmediale Visualität
von Walter Benjamins
Ursprung des deutschen
Trauerspiels.**



Bielefeld: transcript, 2022. — 276 S. — (Literatur — Medien — Ästhetik; Bd. 4).

Книга Свена Шёпфа «Письмо не нечто <...>, отпадающее при чтении, подобно шлаку»: книжно-медиаальная визуальность “Происхождения немецкой барочной драмы” Вальтера Беньямина» (цитата в названии приводится по переводу С. Ромашко (М.: Аграф, 2002. С. 227—228)) ярко иллюстрирует неустанную переориентацию немецкого литературоведения. С одной стороны, не вызывает сомнений ее прямое отношение к германистике, поскольку Беньямин сегодня не только автор ставшего каноническим исследования немецкого барокко, но и самый модный среди германистов персонаж. С другой стороны, не углубляясь в вопросы литературы как таковой, Шёпф разворачивает оптику в сторону «типографической герменевтики» (Н. фон Мервельт), то есть семантики визуальной стороны книги как культурного артефакта. Симптоматично поэтому, что издательство «transcript» выпустило эту книгу в сравнительно молодой серии «Литература — медиа — эстети-

ка». Впрочем, сам автор вписывает свое исследование в возникшую в 1990-е гг. «материальную филологию» и в общий «материальный поворот» гуманитарных наук, исходящий из предпосылки, что материальная реальность текста, то есть «специфическая сделанность литературной текстуальности» (К. Шпёрхаузе), играет не менее существенную роль как при конструировании смыслов, так и при их интерпретации (с. 17–18).

На примере канонической работы Беньямина о барочной драме исследователь стремится показать, «насколько многослойно может быть закодирован печатный артефакт» (с. 233) и насколько издательско-филологическое вмешательство способно переопределять рамки возможных интерпретаций, лишая типографическое оформление оригинального издания его герменевтического потенциала. В этом смысле книга Беньямина естественным образом должна обращать на себя внимание исследователей, поскольку автор, хорошо знакомый с историей и семантикой шрифтов, принимал самое прямое и деятельное участие в оформлении издания; известный современный исследователь культуры В. Меннингхаус даже называл типографский замысел Беньямина гениальным (с. 17). На семантическую нагруженность типографики беньяминовской книги указывает уже то, что вопреки научной традиции она напечатана ломаным готическим шрифтом — фрактурой (говоря точнее, старым швабахером), в то время как, например, для сборника своих афоризмов Беньямин выбрал традиционный для научного издания прямой латинский шрифт — антикву. Один из крупнейших немецких типографов Я. Чихольд выделил в 1928 г. две функции типографического оформления книги: использование определенных шрифтов может как маркировать актуальность и современность печатной продукции, так и доносить до читателя определенную ис-

торическую эпоху посредством так называемой герменевтики вчувствования. Шёпф выводит книгу Беньямина за рамки обеих этих функций и утверждает, что используемая литера не символизирует ни время написания исследования, ни время возникновения его объекта — у Беньямина «типографический мимесис» (с. 14) работает тоньше и глубже.

Сопоставляя оригинал «Происхождения немецкой барочной драмы» (1928) с переизданиями второй половины XX в., Шёпф во многом опирается на рассуждения М. Кана о неминуемой при публикации собрания сочинений «внеисторической стилизации» и «стерилизации» текстов «великих авторов», помещаемых издательством на некий пьедестал, где их тексты оказываются лишь «версией», далекой от изначальной материальности оригинала (с. 24). Инициированное Т. Адорно в 1950-х гг. посмертное двухтомное издание «Сочинений» Беньямина в издательстве «Suhrkamp» Шёпф называет наглядным примером создания «фиктивного единства» текстов Беньямина, в результате которого оказались стерты как исторический контекст, так и авторский замысел, отражаемые книжно-медиаальной визуальностью первого издания. Сам Адорно, которого можно считать родоначальником беньяминоведения, в написанном им предисловии отказывал изданию 1955 г. в научной аутентичности. Среди основных черт этого издания, выхолащивающих беньяминовскую идею, Шёпф называет отсутствие титульного листа, посвящения и оглавления, сокращение примечаний на четыре пятых, добавление хронологической таблицы с упоминаемыми барочными поэтами, выделение цитат в отдельные текстовые блоки и использование антиквы. Отдельное издание 1963 г. уходит от оригинала еще дальше: сноски из концевых превратились в постраничные, а на обложку была добавлена «невозможная фигура» в стиле

М.К. Эшера, которая скорее обращается к эстетическим ожиданиям читателя и заявляет о современности и актуальности книги. В версии, вошедшей в Собрание сочинений 1974 г., хоть и были исправлены предыдущие искажающие вольности, однако отказ от воспроизведения оригинального шрифта вкупе с издательскими пери- и паратекстами и визуальной неотличимостью «Происхождения...» от соседних текстов лишают эту работу физической автономии ради «герменевтической когерентности» творчества Беньямина как его *Gesamtkunstwerk*'а (с. 43). Наконец, оформление издания 1978 г. служит не столько автономии этого текста, сколько помещению его в контекст всего творческого наследия канонического автора. Впрочем, такой результат вполне ожидаем, так как в целом соответствует культурной политике и маркетинговой стратегии издательства «Suhrkamp», которое, по его же словам, «публикует не книги, но авторов» (с. 48). Этой стратегии служит и нейтральная типографика, использующая шрифт гарамонд, не обращающий на себя внимания, функциональный и лишенный «типографского своенравия» (с. 49), насколько это возможно.

Шёпф начинает исследование с конца — с утверждения о деисторизации книги Беньямина. Для доказательства этого тезиса исследователь отправляется в увлекательное археологическое путешествие по различным сферам, имеющим отношение к трактату Беньямина; каждая из них заслуживает пристального внимания — охват материала богат и разнообразен. Автор поднимает исторические пласты германистики, барокко- и беньяминоведения, углубляется в культурную историю немецких шрифтов и книгопечатания, чтобы на многочисленных примерах типографической семантики интерпретировать оригинальное издание «Происхождения...». Основная мысль Шёпфа состоит в том, что

в типографическом оформлении книги Беньямин визуально, «перформативно» (с. 223) воплотил свою трактовку литературы барокко как «изображения, которое реализует истину» (с. 204), что соответствует сформулированному в его трактате принципу: «Метод — это обходной путь» (пер. С. Ромашко). Перефразируя Л. Витгенштейна, Шёпф выводит формулу, описывающую беньяминский метод в книге о барокко: «Что невозможно раскрыть дискурсивно, то следует показать» (с. 229).

Например, барочный примат изображения Беньямин воплощает в оформлении содержания своего трактата, «представляя читателям отдельные главы как бесцельные конфигурации разрозненных вещей» (с. 209). Беньямин проводит онтологическое различие не только между феноменами и идеями, но и между идеями как таковыми. Так, если книга в целом воплощает высшую идею барочной драмы (тотальность ее происхождения), то отдельные главы представляют ее с разной степенью интенсивности и плотности, а выделенные в оглавлении тематические блоки, составляющие ту или иную главу, по сути, должны являться ее подглавами. Особое значение для Шёпфа здесь приобретает отсутствие этих тематических заголовков внутри издания (благодаря чему Беньямин и достигает эффекта «бесцельной» композиции якобы разрозненных вещей): функцию выделения подглав выполняли отступы, которые как раз и были убраны в переизданиях.

Наиболее пристальное внимание Шёпф уделяет шрифту. Работая над книгой, Беньямин пользовался изданием драм А. Грифиуса, в котором составитель Г. Пальм — в контексте известного германского спора о правописании существительных с прописной или строчной буквы — отдал предпочтение строчному стилю. Однако Беньямин вернул прописную букву в текст своего трактата, как это было принято в эпоху ба-

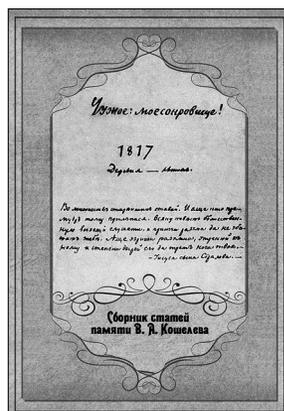
рококко (и, к слову, принято сегодня), поскольку прописная буква была для него зеркалом барочной аллегории. Решающим, однако, становится вопрос об узальном и семантическом различии между выбранной Беньямином фразатурой и общепринятой в научном мире Германии антиквой. Так, история публикации «Книги о немецкой поэтике» (1624) М. Опица наглядно демонстрирует контраст между объективно-научной антиквой, которой напечатано предисловие В. Брауне в четвертом издании (1913), и фразатурой, которой выделены оригинальные цитаты из Опица и отпечатана остальная часть книги: сохраняя графическую специфику оригинала, издатели на визуальном уровне разъединяли два разных культурно-исторических пласта. Беньямин, напротив, снимает этот контраст при помощи шрифтового единства. В самом же шрифте Шёпф обнаруживает непосредственную визуализацию немецкой барочной драмы в двойной кодировке: во-первых, старый швабахер отражает метауровень, на котором Беньямин вписывает в свою книгу идею барокко, а во-вторых, этот шрифт «(ре)инсценирует» идейно-историческое происхождение немецкой барочной драмы — Реформацию (с. 224), принятым шрифтом которой и был старый швабахер. Достигая такого единения исследовательской мысли и исследуемого материала, Беньямин дает возможность углубиться не только в ход его рассуждений, но и в сам их предмет.

Нельзя обойти вниманием послесловие, где Шёпф анализирует суперобложку оригинального издания (которая, в отличие от самой книги, является уже не произведением автора, а издательским перитекстом, по терминологии Ж. Женетта). Исполненная в авангардистском стиле, она весьма смело объединяет в себе не только шрифты антиква, нойланд и гротеск, тем самым указывая на время написания трактата, но и шрифт старый швабахер, который

виден на суперобложке во фрагменте содержания тома. Вслед за Женеттом Шёпф трактует суперобложку как «порог», который обещает читателю возможность перешагнуть из современности автора (представленной в ином типографическом исполнении) в непосредственное происхождение, исток (Ursprung) немецкой барочной драмы. Возможно, именно поэтому С. Ромашко в русском переводе «Происхождения...» избегает слова «шрифт», заменяя его на «письмо» (ср. цитату в названии книги Шёпфа), чтобы дать читателю возможность хоть на каком-то из оставшихся доступными уровней приблизиться к беньяминовскому ощущению барокко.

Сергей Ташкенов

«Чужое: мое сокровище!»: сборник статей памяти В.А. Кошелева.



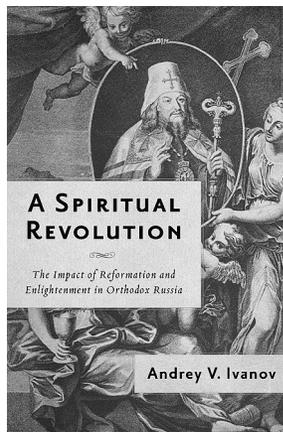
Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2022. — 464 с. — 500 экз.

Содержание: I. *Строганов М.В.* Пушкин-жених в стихах его современников; *Козмин В.Ю.* Весь ваш Яблочный Пирог?; *Денисенко С.В.* «Летопись села Горохина» и история Обломовки; *Васильева С.А.* Пушкинские традиции в «Хронике четырех поколений» *Вс.С. Соловьева*; *Моте-*

юнайте И.В. Пушкин как ревизор: «Пушкин в Арзамасе» С.Н. Дурьлина; Петрова Г.В. Пушкин на творческом пути Максимилиана Волошина; II. Орлицкий Ю.Б. Прозиметрия в творчестве Владимира Соколовского; Малкина В.Я. Визуальная образность в элегии К.Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции»; Кулагин А.В. Батюшков в стихах и прозе Александра Кушнера; Орехова Л.А. О состоянии народного образования в Таврической губернии первой трети XIX века: архивные дополнения к «Своду малоизвестных свидетельств современников» (Великий Новгород — Симферополь, 2017); Николоюкин А.Н. Как поссорился И.В. Киреевский с Е.А. Баратынским (Из литературных легенд); Тихомиров В.В. В.Н. Майков и натуральная школа в русской литературе 1840-х годов; Фомичев С.А. Таинство жизни человека в повести В.И. Даля о правосторонней прогулке; Вихрова Н.Н. «Нужна поэзия, чтобы узнать историю...»: Нравственная концепция истории Хомякова в восприятии И.С. Аксакова; Дмитриев А.П. Две редакции статьи А.С. Хомякова «Славянское и православное население Австрии» (1845) и призыв к славянскому братству в его лирике; Лурье В.М. Россия не будет ни католической, ни христианской: В.А. Энгельсон (под псевдонимом Izalguier) как критик Ивана Гагарина, О.И.; Серебренников Н.В. Гунны, Гегель, мы: извлечения из комментариев к «Семирамиде» А.С. Хомякова; [Бурнашев В.П.] Петербургские редакции и редакторы былого времени (Из «Воспоминаний петербургского старожилы» 1820—1850-х годов) / Подгот. текста, вступ. и примеч. А.И. Рейтблата; III. Генералова Н.П. Афанасий Фет. Восхождение: от «Лирического пантеона» к «Вечерним огням»; Дерябина Е.П. Архивные материалы о пансионе Крюмера; Лебедев Ю.В. О творчестве А.А. Потехина; Викторovich В.А. «Новая мысль» Достоевского и Аполлон Григорьев; Сорочан А.Ю. Заглавие и подзаголовки

в русском историческом романе: опыт типологии; Кибальник С.А. Пьеса А.П. Чехова «Три сестры» в аспекте крипто- и психопозитики; Кубасов А.В. Медицинский дискурс в рассказе А.П. Чехова «Встреча»; Доманский Ю.В. Об одном «онегинском» подтексте в «Вишневом саде» Чехова; Игошева Т.В. О жанровой природе стихотворения К. Бальмонта «Я буду ждать тебя мучительно...»; Пяткин С.Н. О сюжете лирического цикла С.А. Есенина «Любовь хулигана»; Шадурский В.В. М.А. Алданов о «шоколадной фабрике» И.С. Тургенева; Розанов Ю.В. «Русский лад» Алексея Ремизова; Вместо заключения. Анненкова Е.И. Поэты пушкинской поры в интерпретации В.Г. Белинского, Н.В. Гоголя и Вячеслава Анатольевича Кошелева; Бобров А.Г. Из воспоминаний о В.А. Кошелеве; Терешкина Д.Б. Вячеслав Анатольевич Кошелев: о спетом и сказанном; Опубликованные научные труды В.А. Кошелева: [библиографический указатель].

Ivanov A.
**A Spiritual Revolution:
 The Impact of Reformation
 and Enlightenment
 in Orthodox Russia.**



Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2020. — 353 p.

Андрей Иванов в своей книге исследует, какое влияние оказали на Русскую православную церковь два ключевых западноевропейских исторических события: протестантская Реформация и Просвещение. Автор представляет основные ключевые фигуры — политиков и церковнослужителей, которые способствовали продвижению западноевропейских идей с основания Российской империи в XVIII в. до восстания декабристов в 1825 г. А. Иванов ставит под сомнение привычное представление о том, что Русская православная церковь на протяжении своей истории оставалась не затронутой западными интеллектуальными и религиозными течениями в процессе модернизации российского государства. И действительно, уже к середине книги становится ясно, что автор справедливо вынес в заглавие слово «революция», поскольку, как он показывает, в этот период изменились «основы русской православной веры, культуры, политики и идеологии» (с. 5).

Монография состоит из восьми глав. Первая половина книги посвящена проблеме влияния Реформации на православное богословие и отношения между церковью и империей в XVIII в., во второй подробно рассматривается, как православные иерархи выступали в роли проводников Просвещения в русском обществе до 1825 г. Уже во введении автор подчеркивает, что цель книги — не решить, были ли в конечном итоге эти изменения позитивными или негативными для России, а «описать, как исторические деятели называли эти изменения “реформами” и как они оспаривали их положительное или отрицательное значение на протяжении длинного XVIII века» (с. 8). На наш взгляд, автор успешно выполнил эту задачу, умело сохранив объективность и не проецируя современные политические пристрастия на исторический материал.

Первая глава начинается с изложения истории враждебных отношений

между митрополитом Стефаном Яворским и Петром I в 1712 г. По мнению автора, Петр I не был опытным политиком в области церковных реформ и по традиции поддерживал старинный обычай приглашать в Москву более образованных священнослужителей из Украины. В силу своей близости к Западу украинские священнослужители «находились под влиянием теологии контрреформации и полемики с протестантами, отражая римско-католическое влияние, которое главным образом сформировало украинское православие после Брестской унии» (с. 26). Таким образом, католическое богословие влияло на мировоззрение православных иерархов уже в XVII в., и исследователь показывает, как политические последствия этого приводили к сопротивлению иерархов желанию Петра подчинить церковные дела власти самодержца.

Эта предыстория становится фоном для второй, третьей и четвертой глав книги, посвященных епископу Феофану Прокоповичу. Вернувшись в Украину после учебы в Западной Европе, Прокопович стал ректором Киево-Могилянской академии в 1711 г. и изменил учебную программу по богословию, отказавшись от католической схоластики в пользу лютеранских и реформатских авторов. Петр I дал указание Прокоповичу, которого Иванов именуется «русским Лютером», разработать проект церковных реформ. Этот проект стал «Духовным регламентом», отменившим московский патриархат и создавшим Святейший правительствующий синод в 1721 г. В третьей главе Иванов сосредотачивается на этом документе и подробно рассматривает, как церковные установления протестантского богословия легли в основу «Духовного регламента». Хотя «Регламент» уже становился предметом изучения во многих исследованиях, автор считает недостаточно изученной проблеме преобладающего нарратива об отмене патриархата в пользу государст-

венной власти и интересов. Так, Иванов обращает особое внимание на фигуру епископа Прокоповича и утверждает, что отмена патриархата служила его богословским интересам и отвечала его политическому мировоззрению. По нашему мнению, убедительный и оригинальный анализ структуры «Духовного регламента» и философских принципов Прокоповича, отраженных в нем, является важной заслугой книги Иванова. Первая часть книги заканчивается в четвертой главе увлекательным разъяснением роли Прокоповича как важного государственного и церковного деятеля после смерти Петра Первого. Характерный пример — «чистки» церковной иерархии в 1730-х гг., чтобы программа реформ Прокоповича пережила его.

В пятой главе речь идет о том, как влияние деятельности Прокоповича усиливалось на протяжении всего XVIII в. Автор показывает, что места в Синоде и в руководстве многих епархий занимали священнослужители «прокоповической партии». Кроме того, Иванов рассматривает также, как различные философские идеи Просвещения вводились в учебные программы православных семинарий. Особо заметим, что в шестой главе прекрасно показано, какие мыслители и тексты Просвещения пользовались популярностью и влиянием среди епископов и проникали в богословские учебные программы. «Эклектичное приветствие епископами религиозного Просвещения» (с. 169), описанное Ивановым, наверняка заинтересует исследователей интеллектуальной истории. Добавим лишь то, что в этом разделе было бы полезно отдельно упомянуть присутствие иезуитов в России — в связи с решением Екатерины II об отказе публикации указа папы римского, упраздняющего орден в 1773 г. Это несанкционированное с точки зрения Ватикана существование ордена естественно вызывает вопросы

о мотивации царицы и о возможных последствиях этого отказа для русской церкви в эту эпоху.

Седьмая глава посвящена анализу изменения стиля проповедования в Российской империи. Автор пишет: «Влияние религиозного и светского Просвещения на гомилетику в России никогда не изучалось», — и поэтому дает краткий обзор главных тенденций в этой области (с. 189). Иванов приходит к выводу, что проповеди при Екатерине II были во многом похожи на западные «неоклассические» проповеди («неоклассицизм» — возникший в Франции стиль проповедования, основанный на подражании классическому стилю антиохийских и каппадокийских Святых Отцов IV в.), к примеру при определении взаимоотношений между верой и разумом или общественной пользой и верой. Эти наблюдения позволяют автору продемонстрировать, как идеи Просвещения становились актуальными не только для образованных епископов Петербурга и Москвы, но и для обычных прихожан, приобщаемых к этим идеям посредством проповедей. В последней главе прослеживается влияние ряда важных событий XIX в., как влияние немецкой протестантской мистики, создание российского Библейского общества, война с Наполеоном и восстание декабристов на отношение правительства к церковным реформам. В заключении А. Иванов упоминает, какие новые консервативные группы возникали при Николае I и как они реагировали на «просвещенное православие». Автор приходит к обоснованному выводу о том, что период с 1700 до 1825 г. представляет собой «аномалию» в русской церковной истории, ибо после этого периода церковь старалась вернуться к своим «классическим» (не западным), допетровским корням на протяжении последнего столетия существования империи. Однако А. Иванов замечает, что эта «аномалия» оказала большое и долгосрочное

влияние и на Российскую империю, и на Русскую православную церковь.

На протяжении всей книги автор обращается к предыдущим историческим исследованиям и при этом явно указывает пробелы в них. Это позволяет ему четко определить свой новаторский вклад, например, в области интеллектуальной церковной истории и в сравнении стилей проповедования. Отдельно укажем на приложение, данное в конце книги, в котором Иванов при помощи таблиц очень ясно показывает сходство между Православным учением (1765) и Вестминстерским полным катехизисом (1648), указывая степень влияния последнего на первое. Более того, он предлагает и возможные сюжеты для будущих исследований: написание биографий Стефана Яворского и Феофана Прокоповича, проблема образования и деятельности священников (в отличие от епископов и митрополитов), отношения между церковью и империей в период между 1825 и 1917 гг. В целом эта увлекательная книга побуждает нас пересмотреть традиционные представления о влиянии протестантизма на православие, о роли богословия в политике и о деятельности церкви в Российской империи.

Мелвин Томас

Рясов А.

Беккет: путь вычитания.

СПб.: Jaromir Hladik press, 2021. — 160 с. — Тираж не указан.

Несмотря на известность Беккета, на русском языке практически нет не только исследований о нем, но даже переводов зарубежных работ. Поэтому книга А. Рясова вынуждена решать также и задачи популяризации, начиная с биографии Беккета (в которой тоже немалая доля абсурда, например удар но-

жом от незнакомца, который потом сам не мог объяснить, зачем это сделал).

Рясов рассматривает путь Беккета как нечто непрерывное: последовательный уход от слова — «в начале плотного, “джойсовского”, начиненного бесчисленными ассоциациями; в конце почти ничего не значащего, утратившего языковые и культурные связи, погружающегося в беспощадное и честное молчание» (с. 4). Действительно, ранние тексты Беккета насыщены аллюзиями, цитатами и метафорами, скачками стиля от пародийной философии к ругательствам. Но ростки последующего прослеживаются уже там: ирония и самоирония, оборванные фразы, намеренная невнятность, демонстративная незавершенность, включенные в текст авторские ремарки. И переход на французский для Беккета стал «не поводом воспользоваться культурным многоязычием, но возможностью говорить меньше» (с. 57), видимо из-за отказа от красок родного языка.



«Ни один писатель, кроме Беккета, не продемонстрировал столь ошеломительной и масштабной эволюции от языковой избыточности к безмолвию. <...> На протяжении всей жизни он словно отрезал лишние куски от своего тела, пока наконец не добрался до скелета» (с. 17). Но, развивая эту метафору, можно заметить, что скелет мертв. Возможно, Беккет «от противного» продемонстрировал не-

избежность приблизительности и мертвенность абсолютной честности (как любого другого абсолюта).

В исследовании поэта Беккета сопоставляется с древнегреческой амеханией (беспомощностью, недоумением, скудостью), чьими художественными прибежищами были «апория и трагедия: опыт вязкости, неохватности мира, в котором непонимание и неразрешимость предпочитают любому “верному” решению» (с. 61). Видимо, после попыток (порой плохо кончавшихся) авангарда изменить мир понадобились доведенная до предела деликатность, отказ от действия. Представляет интерес также сопоставление творчества Беккета с Хайдеггером, с его понятиями заброшенности, заботы, ужаса, его стремлением вслушиваться в шепот мира.

Важная проблема, затронутая в книге, — проблема интерпретации. Рясков отмечает, что идея интерпретации как понимания искусства перестала устраивать Беккета еще в конце 1930-х гг. Он неоднократно говорил, что его произведения ничего не выражают. Эту позицию можно сопоставить, например, с идеями эссе Сьюзен Зонтаг «Против интерпретации». Необходимо попытаться узнать, не пытаясь понять, то есть разложить по полочкам. Принять противоречия.

«Аллюзии для Беккета — это осколки культуры, а не повод поиграть смыслами. <...> Драмы Беккета допускают бесчисленное количество интерпретаций не из-за перенасыщенности скрытыми символами, а из-за того, что они написаны о самой неясности, заранее вмещающей любое количество толкований: об абсолютно неизъяснимой и недоступной основе, предопределяющей их» (с. 74). Эта неясность — до слов, отсюда интерес Беккета к музыке, тембру и ритму голосов актеров; соответственно, и к Беккету проявляли интерес композиторы-минималисты Мортон Фельдман и Филип Гласс.

Рясков вспоминает, что об ассоциациях Годо с английским God (Бог) Беккет сильно жалел, но не пытался ли Беккет тем самым ограничить собственный текст? И возможен ли вообще отказ от интерпретации, если слово всегда соотносится с чем-то, что есть в области культуры? Беккет стремился открыть дорогу свободе незнания, но это и свобода для новых интерпретаций. Беккет порой одергивал интерпретаторов, например заметив, что фамилия Белчер не отсылка к британскому мореплавателю, а производная от глагола «рыгать» (to belch) (а фамилия Фартов — производная от глагола «пердеть» (to fart), а не отсылка к русскому «счастью»). Но порой и поощрял — ответив на вопрос о подтекстах пьесы «Счастливые дни» множеством цитат из Браунинга, Грея, Китса, Мильтона, Шекспира, Хайяма. Впрочем, при разговоре о Беккете используется и старый добрый мотивный анализ. Рясков выделяет у Беккета сквозные образы, например кресла-качалки как движения на месте (с. 48), шляпы как жалкой попытки укрыться (с. 52), сломанного велосипеда как распада техники (там же).

Беккет прослеживает разрушение смысла, коммуникации, памяти. «Когда память засорена повторяющимися событиями и бессмысленными аналогиями, сами идеи взросления, поступательного развития, целесообразности все больше начинают вызывать подозрение и казаться несостоятельными» (с. 12). Это литература пустоты и распада, иллюзорности надежд и намерений. Кризис целей, потеря великого единства, религиозного или национального, в котором индивид мог бы раствориться, вызвали дезориентацию. Но эти потери дали возможность находить свой путь.

Персонажи Беккета одержимы манией систематизации, попыткой «сберечь хоть толику смысла» (с. 76). В результате наиболее нелепые действия

персонажей оказываются подчинены строгой логике. Их взгляд превращает все, на что падает, в неразрешимую проблему (с. 50). Говорящий вынужден до бесконечности уточнять значение слова, каждый ответ вызывает вереницу новых вопросов. Беккет демонстрирует паралич классической логики, ее недостаточность.

Скептицизм обращается на себя: «Беккет рисует трагический абсурд жизни, усилия и цели которой совершенно неясны и непостижимы, но при этом нельзя сказать, что их нет» (с. 80). Сомнение есть «не только в возможностях слова прикоснуться к дословесному, но и в невозможности этого» (с. 86). Поэтому «нельзя понять, имеем ли мы дело с остовами умирающего языка или прикасаемся к области, дающей саму возможность рождения речи <...> невозможно разобраться, что перед нами — руины или строительные материалы, детство языка или его предсмертные судороги» (с. 87).

«Эндшпиль превращается в пат, в принципиальную невозможность завершения партии. Уничтожение полностью не удается, в остатке всегда остается что-то» (с. 93). В поздних произведениях Беккет возвращается и к английскому, и к многозначности слов. Основной проблемой текстов Беккета «остается уверенность не в том, что все уже давно было сказано, а в том, что не было сказано ничего» (с. 106).

Таким образом, исследование Рясова позволяет предполагать, что Беккет не завершение литературы, а начало, но литературы иной, не рассказывающей, сознающей свою вспомогательность,

обращенной к несловесному, немыслимому. Отказавшейся от самолюбования, от опьяняющей риторики, помнящей, что любой текст лишь мало что меняющие слова. Возможно, здесь работает иная приводимая Рясовым аналогия — с Введенским, который при всем внимании к негативности и «звезде бессмыслицы» стремился не к самоистреблению речи, а к ее преобразованию на ином основании.

Книга не лишена художественности. Рясов — автор прозы, влияние Беккета на которую несомненно. Возможно, для Рясова это и попытка разобраться в собственном письме, и стремление понять Беккета также и средствами литературы. Приложения к книге посвящены исследованию М. Никсона и Д. ван Хюлле о библиотеке Беккета, публикации писем Беккета (которых, несмотря на протесты Беккета против коммуникации, известно около 15 тысяч). Будем надеяться, что книга проложит дорогу более детальным работам о Беккете, не уклоняющимся от интерпретаций, но и не забывающим, что интерпретация никогда не окончательна и не может подменить текст.

Беккет в каком-то смысле жизнеутверждающий автор, он показывает, что даже в умирании есть своя, растягивающаяся в бесконечность, жизнь. Он поражает «способностью черпать колоссальные запасы энергии в собственном бессилии» (с. 60). Беккет остается актуальным. Нам жить в последствиях катастрофы, в неизвестности и ненадежности.

Александр Уланов

Благодарим книжный магазин «Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17; тел.: 8 (495) 749-57-21) за помощь в подготовке раздела «Новые книги».

Просим издателей и авторов присылать в редакцию для рецензирования новые литературоведческие монографии по адресу: 123104 Москва, Тверской бульвар, 13. «Новое литературное обозрение». Отдел библиографии.